

«Я ПАСЫНОК ДЕРЖАВЫ ДИКОЙ...»

Из этюдов
об Иосифе Бродском

Смерть Иосифа Бродского будто заново с особой яркостью высветила масштаб дарования поэта и одновременно степень интереса соотечественников к нему. В последнее время появляется немало работ, где с разных сторон анализируется наследие Бродского. Предлагаемая вниманию читателей «Труда» статья Льва Аннинского (может, несколько непривычная в ряду текстов массовой газеты, но этим тоже привлекательная) посвящена «национальным» мотивам в творчестве поэта.

В поэтическом Театре Иосифа Бродского живут и действуют евреи, грузины, поляки, немцы, эстонцы, литовцы, китайцы, румыны, таджики... А по преодолении «железного занавеса» — американцы, англичане, итальянцы, испанцы, мексиканцы, голландцы, шведы, арабы...

Диапазон контактов поразителен. Дети разных народов, скользят все время по заднику картины, свидетельствуют о какой-то неутоленной, но жгучей потребности лирического героя. Иногда эти сквозящие тени сотканы из элементарностей, за которыми не надо даже лезть в энциклопедию. Финляндия — это сосны. Голландия — это цветы. Грузия — это чай, это там, — где поют «Тбилиси» и «Сулико». Гимн «баналу», как сказал бы сам Бродский.

Иногда фигуры многонационального шествия обрисованы с беглостью едва ли не обидной. Если, конечно, вдумываться. Но в том-то и дело, что статисты поэтического действия очерчены тут символически, автор размышляет о другом; а они — только часть «пейзажа». «Вдали маячит сумрачный грузин». Фигура — из «кавказского анекдота»... Даже возлюбленные греки, некогда подарившие памяти человечества бессмертного Одиссея, охлещены тою же переписной веревкой: «Столько мертвецов вне дома могут бросить только греки...» Греки же, брошенные вне дома, введены в стих такую фигурой: «Теперь так мало греков в Ленинграде, что мы сломали Греческую церковь...».

Сардонический ритм, сквозящий в подобных оборотах, не дает нам возможности просквозить мимо, подобно тени паломника, ибо тут перед нами уже не фигуры фона, тут глубинный Бродский, полный яда и отчаяния, горечи и безнадеги, неуязвимости и уязвленности. Конечно, многонациональный хоровод теней и ряженных в его поэзии иногда кажется кошунственным, конечно, многое надо понять и простить поэту чисто человечески, ибо это — человеческое... слишком человеческое... Но когда у поэта из-под человеческого орет сверхчеловеческое, — надо вслушаться.

Скольжение фигур фона — не более, чем антураж трагического действия. Само действие, вернее, взаимодействие героя с нацио-

нальными фигурами в болевых точках его судьбы, — это действительно обрывы в бездну.

Первая такая точка — еврейская. Эта тема подложена Бродскому самой судьбой: проклятием и таинством происхождения она возникает с первых стихов — «Еврейское кладбище около Ленинграда» написано в тот же ранний год, что и «Пилигримы».

На кладбище юристы, торговцы, музыканты, революционеры... Идеалисты-талмудисты... Не сеявшие никогда хлеба, легшие сами в землю подобно зернам...

Тринадцать лет спустя «гены» еще раз откликаются — в «Литовском дивертисменте» — в зарисовке еврея, где потрясающая точность исторических деталей приоткрывает сквозящую бездну. Сохнувшая перина... икотка страха от наведенного лорнета... тележка с рухлядью... пейсы, переделанные в бакчи... Новый Свет... Атлантика, заблеванная эмигрантами.

И уже в самом финале пути, в 90-е годы, в «послесловии к басне» — щемящий диалог любимой птицы — с кем? Надо думать, с Богом:

— Еврейская птица ворона,
зачем тебе сыра кусок?
Чтоб каркать во время урона,
терзая продрогший лесок?..
— Я просто мечтала о браке,
пока не столкнулась с лисой,
пытаясь помножить во мраке
свою профиль на сыр со слезой.

Игра смысла, лучащаяся в стихе, не исчерпывает его бездонности, но, конечно, сообщает Бродскому неотторжимый статус еврейского поэта.

Казалось, особенно при его отторжении от России в 1972 году, что зияние, оставшееся на месте вырванных русских корней, заполнится еврейской болью. Еврейской живучестью. Еврейской беспочвенностью. Еврейской почвой.

Но все оказалось иначе. Ни поэтом диаспоры не стал Бродский, ни поэтом каменной пустыни Бытия, хотя горечь изгнания из Союза смешалась с горечью изгнания прадедов из старой России, и жестоковыйность пророков ощутилась в демонстративном спокойствии, с каким Бродский перенес потерю Отчизны.

Все получилось не так. И «Бытие» перечитано не столько иудейскими, сколько христианскими глазами. И диаспора отсут-

ствует куда-то в свете (или во тьме) несравнимо трагичного общего мироощущения. И диалог с еврейством оказывается только эпизодом в ряду других национальных встреч.

Первый контакт — эстонцы. Автобусная экскурсия в Пириту: осенью 1962 года исторгает из лиры Бродского «рыдающий» звук, толкование которого уводит нас за пределы эстонского пейзажа. Сверхзадача — вовсе не эстонский пейзаж, а именно невозможность «войти» в эстонский пейзаж, переступить оградившую его грань. Само существование «другого» мира: непонятность «эстонского латыни» на могильных камнях врачует душу уже одним тем, что не все в этом мире пронизуемо, не все просквозено и отбираемо. Может быть, это даже зависть к эстонской непроницаемости — знак надежды. И потому «русский глаз» отдыхает «на эстонском шпиле».

«Литовский ноктюрн», сотворенный уже в изгнании вскоре после конца «прекрасной эпохи», содержит еще более детальный, до мелочей проработанный пейзаж. Костел, прихожане, прикрывающие ладонями свечи. Куры, роющиеся в дрове. Запах рыбы. Малец и старуха...

«Русскому глазу», вырвавшемуся из имперской ночи, вроде бы уже не надо «отдыхать» на каунасских шпилях... Оптическая точность зарисовки нужна для иной цели; в противовес ей почти с тою же долей отчужденности нарисован портрет адресата этой ночной песни:

Вот откуда твоих щек
мучнистость,
безадресность глаза,
шелестявость
и волосы цвета спитой
тусклой чайной струи...

Томас Венцлова, чьи черты Бродский увековечил таким образом, ответил поэту с безукоризненной прибалтийской корректностью, но так же безжалостно: поэзия Бродского — типичное барокко; разностильность здесь возведена в принцип; неустойчивый, изменчивый мир тщится быть эмблемой мира незыблемого и вечного; перед нами человек, оставленный Богом, брошенный на периферию космического «текста». И Прибалтика для Бродского — не более, чем «окраина» распадающейся «Империи», — принципиальная «частность». «Подчеркнута семантика стагнации, тесноты, ущербности, удущья. Движения нет — в лучшем случае есть бессмысленное мельтешение, случайная смена направления, толчея... Человек приравнен к вещи, превращен в ничто... Ни первого, ни второго лица — ни явного адресата... Рассказчика можно восстановить разве что по его тону: то ли это нечто пошло-ватый денди, забредший сюда из «прекрасной эпохи», то ли современный городской житель, «жер-

тва толчеи», потерявший центральное место в мире. Образ его мельтешит, двоится, совпадает и не совпадает с автором. Скорее всего, это просто точка зрения, а не личность. Совершенный никто, человек в плаще... Буква стирает личность».

Томас Венцлова прав: это не контакт с Литвой. Это вообще не контакт с миром. Это — авторпортрет существа, которое решилось слиться с серой «поверхностью» жизни и одновременно ненавидит жизнь за необходимость такого решения; «безадресность, мучнистость, тусклость» внутреннего состояния скомпенсирована барокальной мощью деталей.

Литовский «ноктюрн» почти совпадает с «рассветной» песней Америки. «Небольшая дешевая гостиница в Вашингтоне» дает первый приют иммигранту. «Постояльцы храпят...».

За тринадцать лет до этого из Нового Света слышалась совсем иная музыка! Это было в 1961-м — «Июльское интермеццо». Диззи Гиллеспи, Джерри Маллиган и Ширинг, Ширинг! Запретные звуки американского джаза едва долетают сквозь треск помех до ленинградских молодежных компаний. О, какой стиль, какой стиль! Как жадно ловят эту музыку задавленные дети империи! «Боже мой, Боже мой, звук выписывает эллипсоид так далеко за океаном... Боже мой, Боже мой, какой ударник у старого Монка и так далеко за океаном... Боже мой, Боже мой, это какающая погоня за нами, погоня за нами...».

1974: погоня увенчивается успехом, океан пересечен. «Постояльцы храпят».

И тотчас от этого храпа — свечой, ястребом — взмывает душа в небо! От этих кирпичных домов, аккуратных ферм, школьников в пестрых куртках, кричащих по-английски: «Зима, зима!» Америка хороша «из-за океана» или уж — с птичьего полета, с высоты ястреба, который не различает людей, а только холмы, серебро реки... Еще выше! «В ионосфере». В астрономически объективный ад птиц, где отсутствует кислород...».

В «ионосфере» он дома, но Америка — не дом. Живой обыкновенной Америки нет, а есть — нечто абстрактно великое и абсурдно всемирное. Америка — вывернутая Россия?! Боже мой, Боже мой, кажется, так...

Я, пасынок державы дикой
с разбитой мордой,
другой, не менее великой,
приемыш гордый...
Вот и уравнились.

Каждая встреча Бродского с «другим» миром приводит его к неизменному, фатальному ощущению: к равенству абсурдов.

Лев АННИНСКИЙ.
Полностью статья будет напечатана в журнале «Дружба народов».